

Баллада о весёлой вдове



18+

Мелоди Свон

Мелоди Свон

Баллада о весёлой вдове

«Автор»

2026

Свон М.

Баллада о весёлой вдове / М. Свон — «Автор», 2026

Меня зовут Арабелла Хартвелл. Мне двадцать девять, я вдова, и восемь лет моего брака уместились во вторники и пятницы с девяти до половины десятого. Траур закончен, у меня новое платье цвета спелой сливы и план из трёх пунктов: случайная встреча, пусть думает, что это его идея, и ни в коем случае не влюбляться. Он — Роджер Эшфорд, младший сын герцога, огненный маг, дуэлянт и главный ловелас сезона. Идеальная кандидатура: такие не влюбляются, не делают предложений и уезжают к оперным певицам, не оставив после себя ничего, кроме приятных воспоминаний. А ещё у меня есть восьмилетняя дочь с блокнотом, шестилетняя дочь, которая уверена, что он дракон, тётушка с лорнетом, кот по кличке Епископ и родственник с усиками, которому очень нужно, чтобы я «уронила честь рода». Да, здесь есть всё: колонны, дождь, сломанная карета, одна кровать на постоялом дворе и двери, которые распахиваются в самый нужный момент. Клише? Клише. Я предупреждала. Только не говорите, что не знали, чем всё кончится.

© Свон М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Куплет первый. О вдовах, которые не плачут	5
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Мелоди Свон

Баллада о весёлой вдове

Куплет первый. О вдовах, которые не плачут

Знаете, все вот эти до нелепого клишированные истории про юных невинных дев, которых злая мачеха продаёт старому герцогу, а спасает их, разумеется, герцог молодой, с челюстью, которой можно колоть орехи? Так вот, это не она. Ну, то есть не совсем она. Я не юная, не дева и уж точно не невинная. Я — вдова. Весёлая. Это важно, запомните, потом спрошу.

Меня зовут Арабелла Хартвелл, баронесса Хартвелл-холла, что в трёх днях пути от столицы Альбрии, если ехать на приличных лошадях, и в пяти, если на тех, что остались мне от покойного мужа. Мне двадцать девять лет. У меня две дочери, ровно отмеренный природой магический дар и ровно отмеренный покойным мужем годовой доход. Ни то ни другое не впечатляет. Дочери, впрочем, впечатляют, но о них чуть позже, они этого заслуживают.

Сейчас мне, видимо, положено рассказать, как я до такой жизни докатилась. Хорошо, только недолго, а то у меня там дальше ловелас стоит у колонны и скучает. Ладно, вру: долго. Потому что, если я не расскажу вам про Хартвелл-холл, вы не поймёте, почему я так хотела оттуда сбежать, а если не расскажу про Эдмунда — почему мне было так стыдно этого хотеть.

Мой отец, сэр Годфри Пэкстон, был человеком обаятельным, весёлым и совершенно не приспособленным к жизни. Высокий, худой, с копной вечно растрёпанных пепельных волос и глазами цвета разбавленного чая, он напоминал цаплю, которая случайно забрела на светский приём и теперь не знает, на какую ногу встать. Жилеты он носил немислимых расцветок (канареечные, малиновые, в мелкую зелёную клетку), потому что считал, что жизнь слишком коротка для коричневого. Ещё он умел играть на флейте так, что у слушателей наворачивались слёзы, рассказывать анекдоты про епископов так, что у тех же слушателей слёзы наворачивались по другой причине, и проигрывать в карты.

Последнее он умел особенно хорошо, почти виртуозно. Проигрывал изящно, с лёгкой улыбкой и таким небрежным «ну что ж, господа, фортуна — дама капризная», что партнёрам по столу делалось неловко забирать выигрыш. Забирали его, впрочем, всегда.

К моим девятнадцати годам он проиграл всё, что у нас было. Мамин жемчуг — три нитки розоватых зёрен с красивым радужным переливом. Две картины в гостиной: голландский натюрморт с лимоном, у которого кожура спускалась со стола спиралью, и портрет прабабушки, суровой дамы в чёрном, которую я в детстве боялась и о которой потом, когда её унесли, неожиданно заскучала. Конюшню, карету и, кажется, повара, хотя насчёт повара я до сих пор не уверена: может, тот просто сбежал сам, не дождавшись жалованья.

Мамы к тому времени уже не стало. Её я помню плохо, урывками, как помнят сон, спустя время. Запах фиалковой пудры, тёплые руки, вечно исцарапанные шипами роз. Мягкий, с хрипотцой голос, напевающий что-то без слов, платье цвета весенней травы с вышитыми по подолу маргаритками. И ещё помню, что от её прикосновения подоконные герани начинали цвести как сумасшедшие, в любое время года, даже в январе, когда за окном лежал снег, а в гостиной пахло дымом и мокрой шерстью.

Дар у меня, кстати, от неё, как и привычка разговаривать с растениями, когда никто не видит. Да, разговариваю. Нет, они не отвечают, зато слушать умеют лучше большинства мужчин.

Наш дом в Пэкстон-корте к тому времени, о котором я рассказываю, напоминал улыбку без половины зубов. Комнаты стояли пустые: светлые прямоугольники на обоях на местах,

где раньше висели картины; неглубокие вмятины в паркете на месте раньше стоявших здесь шкафов; одинокий крюк на потолке гостиной, с которого с полгода назад сняли люстру. Шаги без ковров отдавались эхом, а сквозняки гуляли как хотели. Живым и красивым оставался только сад, потому что его я никому бы не отдала. Там всё моё и всё осталось от мамы: розы, жимолость, старая груша у ограды, грядка с пряными травами под кухонным окном. Отец в сад даже не заходил. Говорил, что там слишком много от неё.

Так вот, когда мне исполнилось девятнадцать, отец позвал меня в кабинет. Оттуда к тому времени исчезли и ковёр, и книги, и, собственно, письменный стол: остались только стул, камин с горсткой углей и флейта на каминной полке, единственная вещь, которую он не решился поставить на кон. Отец стоял у окна в своём уже заметно поистертом малиновом жилете и вертел в пальцах незажжённую трубку.

— Белла, — сказал он, не оборачиваясь. — Тобой интересуется барон Хартвелл.

— Тот, у которого собаки? — уточнила я.

— Тот, у которого деньги, — честно ответил отец. И, к его чести, покраснел так густо, что даже уши стали в тон жилету.

Барон Эдмунд Хартвелл сделал мне предложение в письменной форме, на двух листах плотной кремовой бумаги, с приложением описи имущества. Я не шучу: до сих пор храню это письмо в шкатулке из кипариса, вместе с маминым черепаховым гребнем и первым выпавшим зубом Кэрри. Оно написано очень аккуратно: почерк ровный, наклонный и ни единой помарки. Так пишут люди, которые сначала готовят черновик, а потом переписывает набело. На второй странице, сразу после перечня охотничьих угодий («северный лес, 120 акров, дуб и бук; западная пустошь, 40 акров, вереск и куропатки») и перед списком фамильного серебра («столовый сервиз на 24 персоны, работы мастера Ормсби, 1 шт.»), значилось: «Также обязуюсь обеспечить будущей супруге достойное содержание, отдельную спальню и оранжерею по её усмотрению».

Отдельную спальню... Понимаете же? В брачном предложении, тем же ровным почерком, что и куропатки.

Я тогда подумала, что это самое неромантичное, что мне доводилось читать. Сейчас, правда, так не думаю.

Про оранжерею он, кстати, знал. Видел, как я на каком-то пикнике у соседей, у Фэрфаксов, уговорила зацвести чахлый куст сирени, который хозяйка собиралась выкопать. Я сидела возле этого куста на траве, гладила его по веткам и шептала глупости, пока все остальные ели пирог с голубями, а потом он взял и выбросил три тяжёлые лиловые грозди соцветий, прямо в августе. Миссис Фэрфакс тогда уронила чашку. А барон Хартвелл позже подошёл ко мне, посмотрел на куст, потом перевёл взгляд на меня и отметил с явным одобрением: «Полезное умение».

Вот и весь наш первый разговор. Два слова. И всё.

Я тогда решила, что он надо мной посмеялся. И только через несколько лет поняла, что это вообще-то был комплимент, причём, вероятно, самый пылкий, на какой Эдмунд вообще оказался способен.

Тридцать один год. Именно на столько лет он был старше.

Стоит, наверное, его описать. Нечестно как-то расписывать ловеласа на трёх страницах, а мужа тремя строчками. Эдмунд заслуживает хотя бы страницы.

Невысокий, крепко сбитый, с широкими плечами и кривоватыми ногами человека, который полжизни провёл в седле, он носил под жилетом небольшой, аккуратный, какой-то очень приличный животик. Так носят дорогие часы: не напоказ, но с достоинством. Лицо квадратное, обветренное, красноватое на скулах от долгих часов на охоте, с густыми седыми бакенбардами, которые он подстригал сам, каждое воскресенье, маленькими ножничками перед зерка-

лом в своей гардеробной. Светло-серые глаза, выпцветшие, как старый ситец, смотрели на мир спокойно, с лёгким удивлением, будто мир всё время делал что-то неожиданное и не совсем приличное. Крупный нос с горбинкой зимой краснел. Руки большие, сухие, в мелких белых шрамах от собачьих зубов и в коричневых пятнах, какие появляются у мужчин после пятидесяти; эти пятна он, кажется, ненавидел больше всего на свете и потому всё время прятал руки в карманы.

Носил он всегда коричневое: коричневые сюртуки, жилеты, бриджи и сапоги. По праздникам — тёмно-коричневое. Мой отец, со своими канареечными жилетами, при первой встрече посмотрел на него как на безумца. Эдмунд посмотрел на канареечный жилет с похожим выражением.

Он любил охотничьих собак, свежие газеты и порядок. Спал в ночном колпаке — да, в том самом, с нелепой кисточкой, я думала, их носят только в карикатурах. Колпак, разумеется, тоже был коричневым. Эдмунд всегда вставал в шесть, завтракал в семь (два варёных яйца, тост, ломтик ветчины, чай без сахара), с восьми до девяти читал «Вестник Альбрии» в своём кресле у окна в малой гостиной. В девять уходил к управляющему, в час обедал, в три гулял с собаками, в пять пил чай. В десять ложился спать.

В отдельной спальне.

В свою я его пускала по вторникам и пятницам, с девяти до половины десятого. Вот, собственно, и вся наша супружеская жизнь, можете не краснеть. Тут и краснеть-то не от чего...

Нет, правда. Я понимаю, что вам хочется подробностей: вам всегда хочется чего-то пикантного. Но рассказывать нечего. Он всегда вежливо стучал, три раза, коротко, и спрашивал из-за двери: «Вы позволите, Арабелла?». И всегда дожидался моего разрешения. Потом входил одетый халат (тоже коричневый, кстати) с поясом, завязанным на двойной узел, и гасил свечу. А уходя, неизменно желал мне доброй ночи и поправлял одеяло — аккуратно и деловито, как поправляют попону на лошади.

Я лежала в темноте и смотрела на балдахин, который не видела, но знала наизусть (тяжёлый тёмно-зелёный бархат с выпцветшей золотой бахромой, пахнущий пылью и лавандой), и думала: «И что? И это всё? Вот об этом пишут в романах? Из-за этого стреляются на дуэлях и сбегают из дома с гусарами?»

Так я в один момент решила, что со мной, видимо, что-то не так: я из тех женщин, у которых «это» просто не получается. Холодная и пустая внутри, как наш дом в Пэкстон-корте, где на обоях остались только светлые прямоугольники от картин.

Знаете, сколько лет я так думала? Восемь. Восемь, чёрт возьми, лет.

Но об этом тоже позже. Тут вообще много чего будет позже, привыкайте.

А теперь — Хартвелл-холл, потому что дом тоже персонаж. Иногда главный.

Хартвелл-холл построили при короле Эдгаре Мудром, и с тех пор его не перестраивали. Но вот пристраивать — пожалуйста! Каждое поколение Хартвеллов добавляло к нему что-нибудь новенькое: крыло, башенку, галерею, конюшню, оранжерею, ещё одно крыло. В итоге дом напоминал старого, очень уважаемого и очень растолстевшего человека, который за долгую жизнь оброс всевозможными привычками, болячками и бородавками. Серый камень местами позеленел от мха. Сквозь узкие окна в свинцовых переплётах свет падал внутрь зеленоватым и мутным, как вода в пруду, а на черепичной крыше росли целые поля жёлтого очитка. Дымили только две трубы, ещё шесть не дымили никогда, потому что в тех частях дома давно никто не жил.

Внутри всегда, даже в июле, царил полумрак. Дубовые панели до самого потолка потемнели до цвета крепкого чая от трёх веков каминного дыма. С тёмных портретов в тяжёлых золочёных рамах смотрели предки, и все Хартвеллы на них выглядели одинаково: квадратное лицо, бакенбарды, коричневый сюртук и выражение лёгкого недоумения от того, что мир всё

время делает что-то неожиданное. Даже женщины, мне кажется, были с бакенбардами, просто художник деликатно их не дописывал. Логично... Вряд ли ему за такое заплатили бы... Тёмный паркет скрипел под ногами на разные голоса: у лестницы басом, в библиотеке тенором, в коридоре у детской — тонко и жалобно, как котёнок. Я за восемь лет выучила их все и могла с закрытыми глазами сказать, кто и где идёт по дому.

Пахло в Хартвелл-холле собаками, воском, табаком и сыростью, а ещё старой бумагой, потому что Эдмунд никогда ничего не выбрасывал: в его кабинете вдоль стен стояли перевязанные бечёвкой стопки газет, разложенные по годам, — сорок лет «Вестника Альбрии». Не спрашивайте зачем он это делал. Я так и не спросила, а потому не знаю. Немного пахло яблоками (в подвале под кухней хранили урожай из старого сада) и совсем чуть-чуть лавандой, которую миссис Поттл раскладывала по всем шкафам от моли.

Моль лаванды не особо боялась, но миссис Поттл доказать это не представлялось возможным.

Помню, что в первую неделю после свадьбы ходила по этому дому, как по музею, где мне разрешили жить, но ничего не разрешили трогать. А потом я нашла оранжерею.

Её построил прадед Эдмунда, сэр Бартоломью, судя по портрету, единственный Хартвелл с намёком на воображение: на картине он держит в руке не хлыст и не газету, а ананас. Стояла оранжерея у самой стены западного крыла: длинная, узкая, с высокими арочными окнами и стеклянной крышей на чугунных рёбрах, выкрашенных когда-то в белый, а теперь уже облупившихся до ржавчины. Когда я впервые вошла туда, внутри не было ничего, кроме пыли, разбитых горшков, засохших стеблей в треснувших кадках и единственного чертовски упрямого лимонного дерева в дальнем углу, на котором висел каким-то чудом сохранившийся единственный сморщенный жёлтый плод. Поти как последний зуб во рту у древнего старика.

Там я простояла до самой темноты. А на следующее утро пошла напрямик к Эдмунду и попросила отдать оранжерею мне.

Он неохотно оторвался от газеты, посмотрел на меня поверх очков и сказал:

— Она и так ваша по договору, Арабелла. Посмотрите седьмой пункт.

И в следующую секунду снова уткнулся в свой «Вестник».

Вот так у меня появилось по-настоящему своё место. Только моё и больше ничьё. Через год лимон уже плодоносил так, что миссис Поттл не знала, куда девать урожай. Через два у меня вне зависимости от времени года всюду цвели пышным цветом камелии, жасмин, гардении, мимоза, фиалки всех цветов, какие только можно выписать из столицы, и розы, розы, розы: белые, кремовые, розовые, как щёки Мэри и Кэрри после сна, и тёмно-бордовые, почти чёрные, с бархатными лепестками и тяжёлым винным запахом, — эти я любила больше всех. Эдмунд заходил туда... Раз в год, да, не чаще. Он приходил в мой день рождения, стоял у входа, смотрел, одобрительно кивал, говорил своё: «Полезное умение» — а потом уходил.

Знаете, за эти два слова я его почти любила.

Когда родилась наша первая дочь, Эдмунд взял её на руки неловко, словно ему вручили очень ценную, но совершенно непонятную вазу, и долго на неё смотрел, а она смотрела на него, красная, сморщенная, с рыжим пухом на макушке, и вдруг попыталась ухватить его за палец. Эдмунд вздрогнул. А потом — я это видела, я лежала на подушках, обессиленная, мокрая от пота, и видела, — на его квадратном обветренном лице появилось выражение, которого я ни разу у него не замечала: растерянность, а за ней что-то похожее на нежность.

— Кэролайн, — сказал он и откашлялся. — В честь моей матушки.

Почти сразу все стали звать её Кэрри, и только сам Эдмунд до конца жизни использовал только полное имя.

Когда через два года родилась младшая, он, не отрываясь от «Вестника Альбрии», сказал:

— Пусть будет Мэри. Рифмуется. Удобно будет звать их обеих к обеду.

Да, вот такой человек. Нет, я не шучу. И он оказался прав: к обеду они действительно прибегают обе.

А вот вам мои дочери, знакомьтесь.

Кэрри сейчас восемь. Волосы у неё мои, рыжеватые, только темнее, медные, и такие густые, что гребень в них застревает. Подбородок отцовский, квадратный и упрямый, а по переносице рассыпаны веснушки, будто кто-то брызнул на неё корицей с ложки. Серые глаза смотрят на мир очень серьёзно: мир, по мнению Кэрри, должен ей объяснение, и рано или поздно, клянусь, она его получит. Худенькая, угловатая, вечно с ободранными коленками и чернильными пятнами на пальцах, а одевается так, словно собирается не гулять, а на заседание парламента: аккуратно, строго, с белым накрахмаленным воротничком, и в отличии от своей сестры никогда не пропускает ни единой пуговицы.

Характер ей достался, видит небо, ничей: ни мой, ни отцовский. По-моему, она как будто сразу родилась взрослой. В четыре года научилась читать, сама, по газете отца, и первым словом, которое она прочла вслух, было «облигации». В пять начала записывать расходы на сладости в маленькую тетрадку с розовой обложкой. А в шесть заключила с кухаркой письменный договор: за каждую прочитанную вслух главу из «Жития святой Агаты» — одна булочка с корицей. Договор она составила сама — записала на обороте моего списка покупок — обе стороны его подписали (кухарка поставила крестик), заверен котом (отпечаток лапы в варенье) и до сих пор соблюдается. Всё чин чинком.

Ещё у Кэрри есть блокнот. А в блокноте Кэрри есть всё. Вообще всё. Как мне кажется. Я не знаю, что именно там написано, и, честно говоря, боюсь знать.

Моей младшей, Мэри, шесть. Мэри — моё солнце, мой хаос и вечный источник мелких порезов на пальцах. Она маленькая для своего возраста, круглая, тёплая и мягкая, как булочка из печи. Волосы у неё светлые, почти белые, пушистые, и никакие ленты на них не держатся: через пять минут после того, как их заплели, косички уже растрёпаны, а ленты потеряны где-нибудь в кустах. Глаза мои, зелёные, с жёлтыми искрами у зрачка, и такие огромные, что в них помещается весь мир вместе с единорогами, феями и драконами. Щёки вечно полыхают розовым и вечно в чём-нибудь перепачканы: в варенье, в земле, в саже, а однажды в синих чернилах, которые не отмывались неделю. Нос пуговкой, а ямочка на подбородке — от Эдмунда.

Она приносит в дом всё, что найдёт: камни, ежей, ржавые гвозди, птичьи перья, яйца, улиток, а однажды принесла живого ужа. Ужа звали сэр Персиваль, и он прожил у нас в коробке из-под шляпы три недели, пока не сбежал в подпол, где, по слухам кухарки, живёт и по сей день и «шуршит по ночам, ваша милость, ну чисто привидение». Мэри верит в фей, драконов, говорящих котов и в то, что если очень долго смотреть на луну, то она подмигнёт. Каждое полнолуние она сидит на подоконнике в ночной рубашке, поджав ноги, и ждёт. Пока безрезультатно. Но она упорно не теряет надежды.

У Мэри мои глаза и, к сожалению, мой талант задавать неудобные вопросы в самый неподходящий момент. Но про это вы все ещё узнаете.

Сейчас вы, наверное, ждёте, что я расскажу, каким чудовищем был старый барон и как я, бедная голубка, томила в его золотой клетке. Не дождётесь. Эдмунд не просто старался казаться хорошим человеком, он им и был. Скучным, как воскресная проповедь гнусавого пастора, но хорошим. Он никогда не повышал на меня голос, никогда не поднимал руку, позволял мне выписывать из столицы любые семена для оранжереи и ни разу за восемь лет не спросил, о чём я думаю.

За последнее я ему особенно благодарна. Думала я, как правило, о том, что неплохо было бы сбежать с каким-нибудь гусаром. Или посланцем далёкой экзотической страны.

Гусара, впрочем, взять было неоткуда: ближайший гарнизон стоял в сорока милях, а из военных за восемь лет мне попадался в округе разве что отставной полковник Блай, семидесяти

двух лет, с деревянной ногой и попугаем, который знал только два слова. Оба конечно же не самые приличные, вернее, самые, что ни на есть неприличные. С послами, как вы уже могли догадаться, тоже не сложилось.

А ещё Эдмунд любил девочек, по-своему, неуклюже и молча. Он не умел с ними играть, не умел рассказывать сказки, даже обнять толком и то не умел, только похлопывал по спине, как похлопывают лошадь после хорошей скачки. Зато по воскресеньям, после церкви и обеда, сажал обеих к себе на колени, в своё большое кожаное кресло, продавленное посредине за сорок лет по форме его тела, и показывал им в газете биржевые сводки: объяснял, что такое «акции северной железной дороги» и почему они падают, что такое «облигации королевского займа» и «дивиденды».

Кэрри слушала жадно, задавала вопросы и всё-всё записывала. Мэри через минуту засыпала, уткнувшись носом в его коричневый жилет, от которого пахло табаком и собаками. Эдмунд никогда не обижался: дочитывал Кэрри сводку до конца, а потом осторожно относил Мэри в кроватку, по той самой половице у детской, которая скрипела тонко, как котёнок, и на которую он всегда наступал с краю, чтобы не разбудить. И, я видела, проверял, закрыто ли окно.

Как оказалось, окно в детской он проверял каждый вечер без исключения, а не только по воскресеньям, — больше пяти лет, с той самой ночи, когда родилась Кэрри. Но узнала я об этом только после его смерти, от миссис Поттл.

Умер Эдмунд тоже очень в своём стиле: в любимом кресле, с газетой на коленях, на странице с биржевыми сводками. В пятницу, в половине шестого вечера, сразу после чая.

На дворе стоял октябрь. В тот день за окнами висел туман, такой густой и белый, словно дом обложили ватой. В камине уютно потрескивали буковые поленья. На столике у кресла остались чашка с недопитым остывшим чаем (без сахара) и тарелочка с одним надкусанным имбирным печеньем. Две охотничьи собаки, старый Брут и молодой Цезарь, лежали у его ног на коврике и спали.

Я зашла спросить, не нужно ли ему ещё чего-нибудь. А он сидел, склонив голову набок, будто задумался над особенно запутанной колонкой цифр. Очки сползли на кончик носа. Одна рука лежала на газете, другая — на подлокотнике, пальцами вниз, словно он собирался встать. На лице застыло то самое выражение лёгкого недоумения, с которым он всегда читал новости о повышении пошлин на шерсть.

А собаки не спали, это я поняла не сразу. Они лежали, положив головы на лапы, и смотрели на него. Не мигая.

Доктор сказал — сердце. Я думаю — котировки. Акции северной железной дороги упали в тот день на одиннадцать пунктов.

Я плакала — больше, чем сама от себя ожидала, и, наверное, больше, чем ожидал бы от меня он. Сидела на полу у его кресла, на вытертом турецком ковре с узором из гранатов и павлинов, держала его ещё тёплую, сухую, в пятнах руку — ту самую, которую он всегда прятал в карман, — и редела так, что собаки стали поскуливать мне в унисон. На эти звуки и прибежали все слуги, а потом — девочки.

Кэрри молча стояла в дверях в ночной рубашке, хотя часы показывали только полшестого (она простыла и с утра хлюпала носом), и обеими руками прижимала к груди блокнот. Лицо белое и неподвижное, как у фарфоровой куклы. Она не плакала — ни тогда, ни на похоронах, ни потом. Заплакала только через три месяца, в январе, когда нашла в отцовском кабинете газету за тот самый день с подчёркнутыми карандашом акциями северной железной дороги. Ревела час, сидя на полу среди сорока лет «Вестника Альбрии». А потом вытерла нос рукавом, сложила газету вчетверо и спрятала в блокнот. Насколько мне известно она хранится там до сих пор.

А Мэри подошла, залезла ко мне на колени, обняла за шею горячими липкими ручками (она ела вишнёвое варенье) и спросила, можно ли разбудить папу, если очень громко позвать.

Я не знала, что ей ответить. До сих пор не знаю.

Знаете, я ведь его совсем не любила, во всяком случае точно не так, как пишут об этом в романах. Но я к нему привыкла, как привыкают к старым часам в гостиной: не замечаешь, как они уверенно тикают, пока вдруг не остановятся. И только тогда понимаешь, какая тишина настала в доме.

Цветы в оранжерее в ту ночь завяли все до единого: розы, камелии, жасмин опустили головы и почернели, как от мороза. Только лимонное дерево в дальнем углу устояло. Видимо, оно было слишком старым, чтобы кого-нибудь оплакивать.

Я не нарочно: тогда я ещё не знала, что так умею.

Хоронили его скромно: Эдмунд терпеть не мог шума и суеты. Маленькая серая церковь в деревне, с покосившейся колокольней и витражом, на котором святая Агата держала в руках что-то, что я восемь лет принимала за пирог, а оказалось — за собственную грудь. Викарий Уиллоби, тощий, с сизым носом и голосом, похожим на скрип немазаной телеги. Холодный мелкий дождь. Свежевырытая яма на кладбище за церковью, возле длинной вереницы серых плит, на каждой из которых выбито «Хартвелл» и какое-нибудь благочестивое изречение. Для Эдмунда я выбрала: «Он всё делал вовремя». Викарий честно пытался меня от этого отговорить, но я всё-таки настояла.

Пришли соседи: Фэрфаксы в полном составе, все семеро, похожие на стаю грачей своих в одинаковых чёрных шляпах. Мокрые и молчаливые арендаторы стояли и неловко мяли в руках шапки. Миссис Поттл достала из сундука чёрный капор, впервые со смерти матушки Эдмунда, и тот резко пах нафталином на всю церковь, заставляя окружающих морщить носы и сдерживать чихание. Полковник Блай пришёл один — попугая, слава небесам, оставили дома. Старый поверенный мистер Доббс явился в своём вечном коричневом сюртуке; кажется, он единственный в округе одевался так же, как Эдмунд, и единственный, кроме меня, кто по-настоящему плакал.

И Сайлас.

И вот здесь, дорогие мои, вы можете выдохнуть и взбодриться, если заскучали: злодей у нас будет. Классический. Я бы даже сказала, хрестоматийный.

Сайлас Хартвелл приходился Эдмунду двоюродным братом и был моложе его лет на пятнадцать. Высокий (выше всех в церкви, даже выше викария) и худой той болезненной, сухой худобой, какая бывает у людей, никогда не евших с удовольствием. Лицо узкое, бледное, вытянутое, как у гончей, с впалыми щеками и острым подбородком, а длинный тонкий нос с горбинкой, казалось, всё время к чему-то принюхивался. Водянисто-серые, близко посаженные глаза он всегда держал полуприкрытыми, будто нарочито скучая, но под тяжёлыми веками всё время что-то двигалось, считало и взвешивало. Тонкие бескровные губы складывались в вечную гримасу человека, учувшего что-то неприятное. На лице, наверное, жило бы выражение безразличия, если бы для него нашлось место между носом и ртом.

Но всё это место безраздельно занимали усики.

Ах, эти усики! Тонкие, чёрные, напояженные, подкрученные кверху двумя изящными завитками, как у опереточного злодея или у кота на вывеске табачной лавки. Он подкручивал их, когда думал о чём-то гадком, то есть примерно постоянно. Левый — когда бывал доволен, правый — когда злился, а оба сразу — когда он был очень, очень доволен, и вот тогда стоило бояться больше всего.

Одевался он всегда в чёрное, и не только на похороны: узкий сюртук, туго затянутый в талии, жилет с серебряной искрой, шейный платок, заколотый булавкой с жемчужиной. На мизинце левой руки носил перстень с огромным тёмным камнем, похожим на застывшую

каплю чернил, а в правой держал трость с набалдашником из слоновой кости и постукивал ею по полу, когда терял терпение, а терял он его так же часто, как подкручивал усы.

Даже пахло от него странно неприятно: пудрой и чем-то кислым, вроде уксуса. Мэри однажды сказала, что дядя Сайлас пахнет, как маринованный огурец, который нарядили на бал. Я тогда отругала её за грубость. А потом ушла в оранжерею и смеялась там полчаса, уткнувшись лицом в камелию.

У него имелась мерзкая привычка называть меня «милая невестка» таким тоном, будто это не степень родства, а диагноз.

Никакая я ему, кстати, не невестка, мы проверяли. Но он настаивал.

— Милая невестка, — сказал он мне у свежей могилы, пока викарий Уиллоби ещё дочитывал последние строки своим голосом-калиткой, — какая утрата. Какая невосполнимая утрата для всех нас.

И подкрутил левый ус. Прямо там, над гробом.

С тех пор я его тихо ненавижу. Ну, не слишком тихо, если честно.

Завещание огласили в понедельник, в кабинете Эдмунда, где ещё пахло его табаком и газетной краской. На столе лежала стопка непрочитанных «Вестников» за субботу и воскресенье, аккуратно сложенная дворецким, потому что никто не знал, что с ними делать. Кресло за столом пустовало. Сайлас двинулся к нему, но наткнулся на мой взгляд, передумал и сел на стул у камина. Брут и Цезарь лежали под столом у кресла и всё время, пока мистер Доббс читал, тихо, на одной ноте, рычали на Сайласа.

Мистер Доббс, маленький, кругленький, с венчиком седых волос вокруг лысины, розовой и блестящей, как яблоко, и добрыми близорукими глазами за толстыми стёклами очков, зачитывал завещание так долго и так монотонно, что Мэри, которую не с кем было оставить, уснула у меня на коленях. Кэрри сидела на соседнем стуле, выпрямив спину, в чёрном платье, которое ей за одну ночь сшили из моей старой юбки, а потом достала блокнот и начала что-то записывать.

Сначала всё шло, как и ожидалось. Имение, земли, дом и всё прочее переходило к дочерям, поскольку сына Эдмунд не оставил, а закон Альбрии, к счастью, в таких случаях не делал разницы между наследниками. Северный лес объявлялся «неотчуждаемой частью наследства, не подлежащей продаже, залогу или вырубке иначе как для нужд имения». Мне полагалось вдовье содержание: триста фунтов в год, что, поверьте, не так много, как звучит. Управление имением до совершеннолетия девочек передавалось «ближайшему родственнику мужского пола, сведущему в делах», то есть Сайласу, который при этих словах так подкрутил ус, что я испугалась, не оторвёт ли.

А потом мистер Доббс откашлялся, снял очки, протёр их большим клетчатым платком, снова надел и прочитал пункт двенадцатый.

«Опекунство над моими дочерьми, Кэролайн и Мэри Хартвелл, остаётся за их матерью, баронессой Арабеллой Хартвелл, если она не уронит чести рода Хартвеллов. В противном случае опекунство переходит к ближайшему родственнику мужского пола».

— Что значит «уронит»? — спросила я.

Мистер Доббс снял очки и посмотрел на меня с тихим сочувствием. Без очков его глаза казались совсем маленькими и беззащитными, как у крота.

— Это... формулировка весьма расплывчатая, ваша милость. Обычно её толкуют как... ну... порочащее поведение. Скандал. Повторный брак без одобрения семьи. Связь, если позволите, неподобающего характера.

— Покойный кузен Эдмунд всегда отличался предусмотрительностью, — промурлыкал Сайлас со своего стула у камина. — Он, без сомнения, хотел защитить своих дочерей. От... всяческих неприятных случайностей.

И посмотрел на меня как на главную всяческую неприятную случайность.

Брут под столом зарычал громче.

Угадаете с трёх раз, кто у нас ближайший родственник мужского пола? Правильно, усики.

Я до сих пор не знаю, зачем Эдмунд вписал этот пункт. Может, правда хотел защитить девочек или боялся, что я выйду замуж за первого же охотника за приданым. А может, просто любил, чтобы в документах, как в его расписании, всё было предусмотрено. Я на него не сержусь. Почти. Но иногда, когда не спится, я мысленно спрашиваю его: «Эдмунд, ну вот скажи, о чём вообще ты думал?» И он мысленно отвечает: «Об акциях северной железной дороги, Арабелла». И мне становится немножко легче. Совсем немножко.

Потом настали два года чёрного.

Знаете, что такое траур в Альбрии? Это когда ты не можешь танцевать, ездить в гости и принимать гостей, кроме самых близких родственников (Сайласа, ура). Носишь только чёрный креп, который колетса, как мешковина, шуршит при каждом шаге и пахнет почему-то сырыми спичками, а из украшений — одну траурную брошь с прядью волос покойного (у Эдмунда к тому времени волос на голове осталось немного, так что брошь вышла скромная). Петь и громко смеяться тоже нельзя, а на фортепиано разрешены одни псалмы.

Однажды я засмеялась на крыльце, когда Мэри пыталась надеть на кота чепчик, а кот, извиваясь, как угорь, выскальзывал у неё из рук и наконец удрал с чепчиком на одном ухе. Проходившая мимо жена церковного старосты, миссис Пинчботтом, посмотрела на меня так, что я потом весь вечер чувствовала себя страшной преступницей.

Миссис Пинчботтом заслуживает отдельного описания. Маленькая, сухонькая, похожая на воробья, которого обмакнули в уксус, с острым носиком, острыми локтями и острым языком. Пахла она почти также как Сайлас. Всегда ходила в сером и всегда с неизменным ридикулем, где лежали молитвенник, нюхательные соли и, по слухам, записная книжка, куда она с указанием точной даты и неточного времени вносила все грехи прихожан. За восемь лет она не сказала мне ни единого доброго слова, а после смерти Эдмунда вообще почти перестала со мной говорить.

Я носила чёрное, потому что так положено, а потом ещё полгода серое, потому что так тоже положено. Всё это время стригла розы, учила девочек читать и считать, писала письма тётушке Гортензии в столицу и пересчитывала деньги, которых с каждым месяцем становилось подозрительно меньше.

Подозрительно — потому что Сайлас управлял имением так, как управляют чужой лошады: гнал во весь опор, не жалея. Арендная плата с северных ферм почему-то упала на треть, хотя урожай выдался хороший, я сама видела: пшеница стояла по пояс, золотая, тяжёлая, и арендатор Хоббс, краснолицый, с руками, как лопаты, сам говорил мне, что такого урожая не помнит с молодости. Ремонт крыши в западном крыле почему-то обошёлся вдвое дороже, чем в прошлом году, хотя крыша протекала так же, как и раньше, в тех же трёх местах, и под теми же тремя протечками стояли те же три медных таза, в которые капало с тем же звуком: дзынь, дзынь, бульк.

На содержание дома мне выдавали ровно столько, чтобы хватало на свечи, муку и жалование четырём оставшимся слугам: миссис Поттл, кухарке, кучеру Тоби и пятнадцатилетней горничной Нэнси, которая боялась пауков, темноты и Сайласа, причём Сайласа больше всего. Остальных Сайлас «рассчитал за ненадобностью»: дворецкого Грейвза, служившего Хартвеллам сорок лет, второго садовника, конюха и даже гувернантку девочек, мисс Эббот, тихую, умную, с вечными чернильными пятнами на пальцах, которую Кэрри обожала.

— Вы же сами прекрасно справитесь, милая невестка, — сказал тогда Сайлас. И подкрутил ус.

Справлялась, куда деваться. Утром учила Кэрри французскому, а Мэри — буквам. Днём уходила в оранжерею, последнюю мою территорию во всём доме: Сайлас туда не заглядывал, он, по-моему, вообще боялся растений. Однажды он всё-таки зашёл посмотреть, «не слишком ли много угля уходит на отопление этой теплицы, милая невестка», и в ту же секунду ему за шиворот с потолочной балки упала гусеница, мохнатая, зелёная, толстая, как палец. Понятия не имею, откуда она взялась, честное слово. Ну, почти честное... Зато больше он туда не заходил.

Вечером я проверяла счета, которые присылал его управляющий мистер Гаджон (бакенбарды как два рыжих веника и бегающие глазки), и пыталась понять, как так получается, что цифры в них сходятся, а денег всё равно нет.

Мой дар, кстати, за эти два года здорово окреп, видимо, от одиночества. Когда тебе не с кем поговорить, ты говоришь с розами, а розы — существа благодарные. Оранжерея, которая в ночь смерти Эдмунда вся почернела, через месяц ожила, а через год стала похожа на джунгли из книжки с картинками, которую Мэри затёрла до дыр. В декабре у меня цвели розовые пионы, пышные и тяжёлые, как взбитые сливки. В феврале созрела клубника, мелкая, душистая, и девочки ели её, сидя на перевёрнутых горшках, а Мэри перемазалась до ушей. Кухарка, которая слегла с лихорадкой, через три дня встала на ноги, потому что я поставила ей у кровати горшок с мимозой и всю ночь его уговаривала: сидела на табуретке, одной рукой сжимала горячую ладонь кухарки, а в другой держала ветку мимозы.

Я не знаю, как это работает. Мама тоже не знала. Так просто получается: ты отдаёшь своё тепло растению, а растение отдаёт его дальше. Мелкое бесполезное домашнее волшебство: никаких огненных шаров и морских бурь, которыми хвастаются столичные маги в газетах, что читал Эдмунд. Просто цветы.

Но у этого волшебства есть одна особенность, о которой я тогда не задумывалась: оно зависит от того, что у тебя на душе. Если мне грустно, розы вянут; если злюсь, на шиповнике вырастают шипы длиной в палец. А когда мне хорошо...

Впрочем, тогда мне хорошо и не бывало. Мне было... никак.

Потом наступила весна.

Чёрное закончилось в октябре, серое — в начале апреля, в тот день, когда в саду под окнами детской расцвела старая слива: сама, без всякой моей помощи, словно кто-то набросил на неё белую кружевную шаль. И однажды вечером, уложив девочек (по крайней мере, так я думала), я поднялась к себе, открыла старый сундук, который не открывала с самой свадьбы, и достала оттуда платье.

Моя спальня в Хартвелл-холле, раз уж мы здесь, — это большая квадратная комната в восточном крыле, с окнами, выходящими на сад. Стены обиты выцветшим шёлком цвета чайной розы с узором из маленьких серебряных птиц, которые за сто лет слились с фоном: разглядеть их можно, только если подойти вплотную и прищуриться. Кровать с балдахином — та самая, тёмно-зелёная, с золотой бахромой. Камин из серого мрамора с зеленовато-голубыми прожилками, как у старого сыра. Туалетный столик орехового дерева с овальным зеркалом в резной раме, украшенной виноградными гроздьями, и у одной грозди не хватает ягоды: Кэрри в три года выковыряла её ножом для бумаги, «чтобы посмотреть, что внутри». Внутри оказалось дерево. Что сильно разочаровало Кэрри.

И сундук, старый, кованый, с позеленевшими медными уголками, обитый изнутри полосатым тиком. Десять лет он стоял у изножья кровати, я ставила на него поднос с чаем, клала книги и ни разу его не открывала.

Платье лежало на самом дне, под шальями, старыми перчатками и завёрнутыми в бумагу письмами отца. Шёлковое, цвета спелой сливы, тяжёлое и прохладное на ощупь, с низким вырезом и узкими рукавами, отделанными тонким кремовым кружевом. Мне его сшили к пер-

вому сезону, к тому самому, который я так и не провела в столице, потому что за месяц до отъезда отец проиграл мою дорожную карету. Все эти десять лет оно пролежало в сундуке, пересыпанное лавандой, и пахло теперь лавандой и чем-то ещё, неуловимым — несбывшимися фантазиями, наверное.

Я надела его. Корсет пришлось затянуть чуть слабее, чем в девятнадцать: двое детей, знаете ли, не проходят бесследно. Но в целом... В целом оно сидело. Я зажгла все свечи, какие нашлись в комнате (шесть, в двух бронзовых подсвечниках), встала перед зеркалом с виноградной рамой, вынула шпильки, и волосы рассыпались по плечам.

И впервые за все эти годы посмотрела на себя по-настоящему.

Из зеркала на меня смотрела женщина. Не девочка, не жена, не вдова, а женщина двадцати девяти лет, невысокая, с тонкой талией, которую сливовый шёлк делал ещё тоньше, и бёдрами, которые он, наоборот, делал шире, и я впервые подумала, что это, может быть, даже красиво. Кожа за два года в чёрном и сером побледнела почти до прозрачности, на висках и на внутренней стороне запястий проступили голубые жилки, а на плечах рассыпались бледные веснушки — от мамы. Рыжеватые волосы, тяжёлые, волнистые, спадали ниже лопаток, свечи зажигали в них медные и золотые искры, седых там не было ни одного (я проверяла каждое утро). Зелёные, тоже мамины, глаза с жёлтыми крапинками у зрачка смотрели устало, но упрямо. Губы я так долго сжимала в ровную вежливую линию, что, кажется, разучилась держать их по-другому. Да и плечи, оказывается, ещё вполне ничего: круглые, гладкие, с мягкой ямкой у ключицы. А грудь в этом вырезе выглядела... Скажем так, вызывающе. Эдмунд бы покашлял и предложил шаль.

Восемь лет я была женой, два с половиной года — вдовой, а женщиной, по-моему, ни дня.

И вот тут во мне что-то щёлкнуло: открылся замок, который я сама же когда-то заперла, а ключ потеряла.

Мне двадцать девять, и у меня ещё вся жизнь впереди. Ну, большая её часть. Я ни разу в жизни не танцевала вальс до утра и не целовалась так, чтобы подкашивались колени. Ни разу — вот вообще ни разу — не просыпалась утром с мужчиной, рядом с которым хотелось бы проснуться ещё раз. И так и не узнала, правда ли то, о чём шепчутся замужние дамы за чаем, хихикая и прикрываясь веерами, и о чём пишут в тех романах, что продаются в столичных лавках из-под прилавка в обёртке из-под молитвенников.

И я подумала: а почему бы, собственно, нет?

А на подоконнике за моей спиной (я увидела это в зеркале), в горшке с засохшей геранью, которую я давно забыла выбросить, вдруг шевельнулся и развернул листья крошечный зелёный росток.

— Мама, ты красивая, — сказала Мэри.

Я подпрыгнула так, что едва не опрокинула подсвечник. Мэри, разумеется, не спала, а сидела под туалетным столиком вместе с котом. Кот был в чепчике, в том самом, кружевном, с розовыми лентами, который когда-то принадлежал покойной матушке Эдмунда. Видимо, их с котом отношения за это время перешли на новый уровень доверия.

Кстати о коте. Я совсем забыла его представить, и боюсь, что он мне этого не простит. Но попробую исправить.

Огромный, серо-полосатый, с белой манишкой и белыми носочками на всех четырёх лапах, весил он, по-моему, как небольшой поросёнок и двигался с той же грацией, пока не замечал мышь, — тогда он превращался в молнию. Морда широкая, щекастая, с длинными белыми усами и выражением глубочайшего презрения ко всему существу, а жёлто-зелёные глаза смотрели на мир так, будто мир задолжал ему сливок. Пришёл он к нам сам, три года назад, в грозу, сел на крыльцо и сидел, пока ему не открыли. Мэри назвала его Епископом, потому что он толстый и смотрит на всех с осуждением.

— Мэри! Ты почему не в кровати?

— Я слежу, — сказала Мэри серьёзно, выглядывая из-под столика. Её белые волосы стояли дыбом, а на щеке отпечатался след от подушки. — Кэрри сказала, что ты что-то задумала. И что за тобой надо следить.

— А где сама Кэрри?

— Здесь, — сказала Кэрри из-за тяжёлой бархатной портьеры, тёмно-зелёной, в тон балдахину.

Она вышла в ночной рубашке до пят, с блокнотом под мышкой, с медными косами, заплетёнными на ночь так туго, что уголки глаз у неё чуть приподнялись, и с выражением лица главного прокурора Альбрии.

— Мама собирается в столицу, — сказала она. — На весь сезон.

— С чего ты взяла?

— Ты написала тёте Гортензии, — Кэрри открыла блокнот и прочитала тем самым голосом, которым читала кухарке «Житие святой Агаты». — «Дорогая тётушка, я больше не могу. Если я ещё месяц просижу в этом доме, я начну разговаривать с Сайласом, а это первый признак безумия. Приеду в апреле. С девочками. Приготовь две детские и бутылку хереса». Конец цитаты.

— Ты читала мою почту?

— Ты оставила черновик на столе, — пожала плечами моя дочь. — Это всё равно что приглашение.

Я посмотрела на неё, потом на Мэри, потом на кота в чепчике, который взирал на меня с выражением глубочайшего презрения ко всему происходящему, и засмеялась. Громко, как не смеялась все эти два с половиной года, так, что миссис Пинчботтом в своём доме за три мили отсюда, наверное, подпрыгнула на кровати, перекрестилась и полезла в ридикюль за записной книжкой.

— Да, — сказала я. — Мама собирается в столицу. И вы едете со мной.

— А там будут принцы? — спросила Мэри.

— Там будут балы, — сказала Кэрри. — А на балах бывают принцы. Это логично. Мама, тебе нужен принц?

Я не стала говорить им, что принцы мне ни к чему, а нужно кое-что гораздо проще. И гораздо неприличнее. Есть вещи, которые просто не рассказывают дочерям восьми и шести лет. Да и дочерям любого возраста в принципе.

— Мне нужны новые платья, — сказала я дипломатично. — А принцы — это как получится.

— Я запишу, — сказала Кэрри. И записала.

Сайлас, каким-то образом узнав о моём отъезде, приехал на следующий же день в своей старой коляске (тогда она у него ещё была старая, с облупившимся лаком и треснутым фонарём). Что будет с коляской, вы ещё увидите. Ружьё на стене висит, просто пока не заряжено.

Он стоял посреди гостиной, опираясь на трость. Большая гостиная Хартвелл-холла — длинная комната с тремя окнами в свинцовых переплётах, выходящими на подъездную аллею, с огромным камином, в котором можно зажарить быка (по семейной легенде, однажды и зажарили, на свадьбе сэра Бартоломео), с портретами Хартвеллов по стенам и мебелью, обитой выцветшим гобеленом с охотничьими сценами: собаки, олени, всадники в треуголках, бесконечная погоня, застывшая на сиденьях кресел. Я восемь лет сидела на загнанном олене. Это, знаете ли, накладывает отпечаток.

Так вот, Сайлас стоял ровно посреди этой комнаты, чёрный, длинный, как восклицательный знак со своими усиками, выразившими всю гамму чувств от недоумения до праведного негодования.

— Столица, милая невестка? — сказал он. — В вашем положении? Не слишком ли... поспешно?

— Траур окончен, Сайлас.

— Траур — да. Но память, — он приложил руку к сердцу, если, конечно, у него там было сердце, а не, скажем, кошелёк, — память о покойном Эдмунде обязывает...

— Память о покойном Эдмунде обязывает меня вывести его дочерей в свет, когда придёт время, — сказала я. — А для этого им нужно хоть раз в жизни увидеть что-то кроме этих стен, ваших счетов и миссис Пинчботтом. Я еду к тётушке Гортензии. Она вдова адмирала, ей шестьдесят три года, и она ходит в церковь дважды в неделю. Если вам этого недостаточно для соблюдения приличий, можете написать епископу.

Кот, лежавший на подоконнике, при слове «епископ» поднял голову и посмотрел на Сайласа. Сайлас посмотрел на кота. Кот зевнул — широко, со вкусом, показав все зубы.

Сайлас помолчал, покрутил один ус, потом второй и постучал тростью.

— Что ж, — сказал он наконец. — Езжайте. Только помните, милая невестка, пункт двенадцатый.

— Я помню, Сайлас.

— Столица — город соблазнов.

— Я очень на это надеюсь, — сказала я.

Он не понял. Решил, видимо, что ослышался. А я не стала повторять.

Через неделю мы выехали.

Ехали мы в старой карете, той самой, хартвелловской: громоздкой, чёрной, с гербом на дверце (три дубовых листа и охотничий рог на зелёном поле). Внутри она пахла кожей, пылью и яблоками, которые миссис Поттл положила нам в дорогу в корзинку. Сиденья, обитые потёртым бархатом (коричневым, конечно же), проваливались посередине, и пружины пели на ухабах на разные голоса, прямо как паркет в доме. Лошади, две немолодые гнедые, Мэгги и Дамплинг, давно уставшие от жизни, шли медленно, с достоинством, как старые дамы на прогулке.

Кучер Тоби, невысокий и кряжистый, с красным обветренным лицом, сизым носом картошкой и густыми седыми бровями, нависавшими над глазами козырьком, сидел на козлах в своём неизменном плаще с тремя пелеринами и, как всегда, пах табаком, хотя ещё три года назад клялся жене бросить. Его жена Мод провожала нас на крыльце, уперев руки в бока, и смотрела на мужа так, что тот съёживался под своими пелеринами.

— Чтоб ни одной трубки, Тоби Мэйхью, — сказала она. — Ни одной. Я узнаю.

— Конечно-конечно, дорогая, — сказал Тоби. И, как только мы выехали за ворота, закурил.

К крыше привязали два сундука, коробку с котом (без чепчика: чепчик Мэри везла отдельно, на коленях, как реликвию) и корзину с тремя кустами моих любимых роз, тёмно-бордовых, почти чёрных, с бархатными лепестками. Оставить их на попечение Сайласа я не решилась.

Миссис Поттл провожала нас у ворот. Миссис Поттл — это... ну, как бы вам объяснить. Если бы Хартвелл-холл превратился в человека, получилась бы миссис Поттл. Шестьдесят лет, из которых сорок пять она прослужила в этом доме. Широкая, как печь, и такая же тёплая, румяная, с тремя подбородками и маленькими чёрными глазками, блестящими, как изюминки в булке. Носила она белый чепец, накрахмаленный до хруста, и фартук, на котором непременно красовалось хоть одно пятно, от муки, варенья или свёклы. Поварёшку из рук она не выпускала почти никогда и, по-моему, с ней же и спала. Говорила миссис Поттл громко, ходила тяжело и знала всё обо всех на десять миль вокруг. Приехав в этот дом девятнадцатилетней невестой, я первые полгода боялась заходить на кухню. А в первую мою зиму, когда от одиночества хотелось выть, она однажды без единого слова поставила передо мной кружку горячего

молока с мёдом и пряничного человечка с изюминами вместо глаз. Я разревелась, а она гладила меня по голове большой, пахнувшей тестом рукой и бормотала: «Ничего, ваша милость, ничего, обживётесь».

Я и обжилась.

— Вы уж там, ваша милость, — сказала она, всхлипывая и вытирая глаза припорошенным мукой фартуком, — вы уж там поосторожнее. Столица, она такая. Там все в белых перчатках, а руки-то... того... грязные.

— Я буду осторожна, миссис Поттл.

— И не ешьте там ничего у торговцев на улице. Мясо у них — кошатина.

Епископ в коробке на крыше возмущённо мяукнул.

— И девочкам шарфы надевать не забывайте. По утрам сыро.

— Хорошо, миссис Поттл.

— А за мистером Сайласом я тут пригляжу, — добавила она уже тише, наклонившись к окну кареты. Глазки-изюминки недобро блеснули. — Не сомневайтесь. У меня, знаете ли, поварёшка-то... тяжёлая.

Кэрри сидела у окна и записывала в блокнот всё, что видела по дороге. Мэри уснула у меня на коленях ещё до того, как мы выехали за ворота.

А я смотрела в окно, как удаляется Хартвелл-холл: серая громада под серым небом, обросшая мхом и пристройками, с шестью мёртвыми трубами и двумя живыми, из которых тянулся вверх тонкий голубоватый дым. Стёкла оранжереи сверкали на солнце, как бриллиант на сухой морщинистой руке старой дамы, а на ветке большого дуба у опушки северного леса висели детские качели, тихонько покачиваясь на ветру, точно кто-то только что с них только что спрыгнул.

Я думала о том, что впервые в жизни еду куда-то не потому, что решила так сама, а не кто-то сделал это за меня.

Итак, вот вам наш расклад на начало истории: вдова, двое детей, злой родственник, завещание с подвохом, поместье, которое медленно, но верно утекает в чужой карман, и платье цвета спелой сливы в сундуке на крыше кареты. Классика? Классика. Я вас предупреждала, что тут всё будет ровно тем, чем кажется?

Нет? Ну, вот, теперь предупредила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.